



КЛАССИ-
ЧЕСКАЯ
И
СОВРЕ-
МЕННАЯ
ПРОЗА



Уильям

ФОЛКНЕР

Деревушка

роман

Деревушка

Уильям Катберт Фолкнер
Деревушка
Серия «Йокнапатофская сага»
Серия «Трилогия о Сноупсах», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158106

Деревушка [роман; пер. с англ.] / Уильям Фолкнер: Фолио; Москва; 2009
ISBN 978-5-17-060307-7, 978-5-403-01802-9, 978-5-17-060319-0,
978-5-403-01801-2

Аннотация

«Деревушка» – первая книга трилогии Уильяма Фолкнера «Деревушка», «Город», «Особняк», посвященной трагедии аристократии американского Юга, которая оказалась перед мучительным выбором – сохранить былые представления о чести и впасть в нищету или порвать с прошлым и влиться в ряды дельцов-нуворишей, делающих скорые и не слишком чистые деньги на прогрессе.

В романе показана судьба циничного предпринимателя Флема Сноупса, человека, олицетворяющего неприглядное лицо «нового Юга» – места, где покупается и продается все на свете...

[b]Книга также выходила под названием «Поселок».[/b]

Содержание

Книга первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Уильям Фолкнер

Деревушка

William Faulkner
THE HAMLET

*Перевод с английского В. Бошняка (кн. 1, 2) и В. Хинкиса
(кн. 3, 4)*

© William Faulkner, 1940

© Перевод. В. Бошняк, 2009

© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2009

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

* * *

Книга первая

Флем

Глава первая

Французовой Балкой называлась часть плодородной речной долины в двадцати милях к юго-востоку от Джефферсона. Защищенная холмами и уединенная, обособленная, но четких границ не имеющая, лежащая на стыке двух округов и ни одному из них не подчиненная, Французова Балка когда-то была жалованным поместьем, ко времени войны Севера с Югом превратившимся в колоссальную плантацию, останки которой – выпотрошенный короб огромного дома, рухнувшие баракы для рабов и конюшни, террасы, укрепленные кирпичной кладкой, дорожки и заросшие сады – по-прежнему именовались усадьбой Старого Француза, хотя первоначальные границы поместья были обозначены теперь только на пожелтевших старинных планах, хранившихся в архиве финансового управления, размещенном в Джефферсоне, в здании окружного суда; и даже поля, в прошлом урожайные, кое-где давно уже вновь заполонила сплошь поросшая камышом непролазная кипарисовая чаща, некогда вырубленная их первым владельцем.

Вполне возможно, он был иностранец, хотя и не обязательно француз, поскольку для людей, пришедших после него и почти начисто уничтоживших следы его трудов, любой, в чьей речи угадывался нездешний призыв либо чья внешность или даже род занятий казался странным, был не иначе как француз, что бы ни утверждал он в отношении своей национальной принадлежности, подобно тому как их существенно затронутые городской цивилизацией современники (вздумай он обосноваться, скажем, в самом Джефферсоне) окрестили бы его голландцем. Откуда он был родом на самом деле, теперь никто уже не имел и понятия, даже шестидесятилетний Билл Варнер, нынешний владелец большей части бывшего поместья, включая участок под разрушенной усадьбой. Потому что пропал, исчез тот иностранец, Француз тот, вместе с семьей, рабами, со всем своим величием. Его мечта, необъятные поля его плантации были раздроблены на части под мелкие, заложенные и перезаложенные захудалые фермы, и директора джефферсонских банков сперва из-за них между собой перегрызлись, а в конце концов продали Биллу Варнеру, так что все, что от Старого Француза осталось, – это русло реки, которое на протяжении почти десятка миль его рабы спрямили, дабы река не размывала земли, да еще скелет грандиозного дома, который его самозванные наследники уже лет тридцать растаскивали по частям, отдирая и отковыривая все, что только могли: ореховые балясины перил и опоры винтовых лест-

ниц, дубовые половицы, которым лет через пятьдесят цены бы не было, вплоть до дощатой обшивки дома — и все на дрова. Забыто было даже имя иностранца, и от его гордыни не осталось ничего, кроме предания о земле, отвоеванной им у зарослей и покоренной, увековечившей позабытый титул, который те, кто явились позже, приехали в обшарпанных фургонах, верхом на мулах или даже пришли пешком со своими кремневыми ружьями, собаками и детьми, самогонными аппаратами и протестантскими молитвенниками, даже по складам прочесть не смогли бы, не то что правильно выговорить, и который не имел уже отношения ни к кому на всем белом свете; и вот не осталось ни его мечты, ни гордыни, прах, тлен и безымянная могила, а от всего предания — лишь сказка, упрямо твердящая о деньгах, зарытых им где-то в усадьбе, когда войска генерала Гранта хлынули в эти места по дороге на Виксберг.

Люди, ему унаследовавшие, пришли с северо-востока, через теннессийские горы, продвигаясь постепенно, каждый шаг отмеряя выношенным и выращенным поколением. Они пришли с Атлантического побережья, а прежде того из Англии, с болот Шотландии и Уэльса, и это видно по именам многих из них: Тэрпин и Хэйли, Уиттингтон, Маккалем и Марри, Леонард и Литтлджон, да и других тоже: Риддеп, Армстид, Доши — люди с такими именами сами собой, из ниоткуда, появиться не могут, поскольку никто, конечно же, не выбрал бы себе добровольно подобное прозви-

ще. Не было у них ни рабов, ни дорогих комодов работы Файфа и Чиппендейла, – какое там, если у них что и было, так в большинстве своем они все свое имущество в состоянии были принести на собственных плечах, а зачастую и действительно принесли. Они заняли землю, понастроили лачуг в одну-две комнатенки, причем до покраски дело не доходило, переженились между собой и принялись плодить детей да пристраивать к своим лачугам клетушку за клетушкой, опять не утруждаясь покраской, но на большее их не хватало. Их потомки все так же растили хлопок в пойме, а кукурузу – у подножия холмов, из зерна гнали виски в запрятанных среди холмов укромных закутках и продавали, если не выпивали все сами. К ним направляли федеральных чиновников, но те исчезали. Кое-что из вещей пропавшего потом обнаруживалось – какая-нибудь фетровая шляпа, приличного сукна сюртук, пара городских штиблет, а глядишь, и пистолет даже – то у ребяташек, то у старика или старухи. Начальство из округа иначе как по поводу выборов туда не совалось. Они сами содержали свои церкви и школы, а их свадьбы, редкие прелюбодеяния и несколько более частые убийства – все это решалось между собой: сами себе судьи, сами себе палачи. Протестанты и демократы, они давали обильный приплод; негров среди местных землевладельцев не было ни одного, а чужие негры ни за что на свете не согласились бы пройти через Французovu Балку после того, как стемнеет.

Главным человеком в этих местах сделался Билл Варнер, теперешний хозяин усадьбы Старого Француза. Он был крупнейшим землевладельцем и членом окружного совета в одном округе, мировым судьей в соседнем и уполномоченным по выборам в обоих, поэтому от него исходили если не законы, то по меньшей мере советы и поучения для местных жителей, которые отвергли бы такой термин, как представительство, если бы даже когда-нибудь о нем слышали, и приходили к Варнеру с намерением узнать не «что от меня требуется», а «как вы думаете, что бы вы от меня вздумали потребовать, если бы меня удалось заставить». Он был и фермером, и ростовщиком, и ветеринаром; судья Бенбоу из Джефферсона сказал однажды, что никогда он не встречал такого отменного учтивца среди всех, кто начинал избирательные урны или мулам зубы рвал. Почти вся хорошая земля в округе принадлежала Варнеру, а на остальную он держал закладные. Он был владельцем лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой и кузни — все это в самом поселке, — и местные жители считали для себя, мягко говоря, неосмотрительным делать закупки, или очищать хлопок, или дробить кукурузу, или подковывать тягло где-либо еще. Тощий как жердь и почти такой же длинный, с рыжеватой, тронутой сединой шевелюрой и усами и маленькими, колючими, яркого, невинно-голубого цвета глазками, он был похож на попечителя воскресной школы при методистской церкви, который по будням ездит на пассажирском

поезде кондуктором или наоборот и который при этом владеет церковью, а может – железной дорогой, а может – и той и другой. Расчетливый и скрытный, он при этом обладал веселым нравом и раблезианским складом ума, по всей вероятности до сих пор оставаясь подверженным позывам пола (своей жене он сделал шестнадцать детей, хотя только двое из них жили дома, остальных поразбросало, кого замуж, кого в могилу, от Эль-Пасо до границы с Алабамой), и вихрастая его шевелюра, даже на седьмом десятке более рыжая, чем седая, тому порукой. Живой и энергичный, он в то же время был ленив: ничего не делал (всеми семейными предприятиями управлял сын) и посвящал этому все время, успевая выйти из дому и исчезнуть даже прежде, чем сын спустится к завтраку, и поди знай, куда старик направляется, при том что и он и старая разжиревшая белая кобыла, верхом на которой он разъезжал, могли попасться на глаза когда и где угодно на десять миль окрест, а весной, летом и ранней осенью хотя бы в месяц раз – кобыла привязана на выпасе у ближнего столба забора – любой мог видеть, как он сидит в самодельном кресле посреди лужайки, заглохшей под натиском дикого мелкокустыя, в усадьбе Старого Француза. Кресло смастерил ему кузнец, до половины распилив посередине бочку из-под муки, а потом подравнивая края и приколотив сиденье, и Варнер теперь посиживал в своем кресле, жуя табак или покуривая тростниковую трубку, для каждого прохожего держа в запасе острое

словцо, приветливое, но без намека на приглашение к беседе, один, на фоне останков былой роскоши. Все полагали (как те, кто видел его там, так и те, кто об этом только слышал), что он в это свое уединение забирается, чтобы обдумать, как бы опять у кого-нибудь отобрать землю, лишив очередного должника права выкупа по закладной, поскольку одному лишь бродячему торговцу швейными машинками по имени Рэтлиф — человеку младше его более чем вдвое — он выдал некое подобие причины: «Люблю здесь посидеть. Все пытаюсь поставить себя на место того остолопа, которому все это вот было нужно... — он даже не шелохнулся, даже головой не повел в направлении затаенного лабиринта старых, уже сплошь проросших травой кирпичных дорожек, подымавшихся к колоннаде громадного полуразвалившегося фасада за спиной, — ...которому все это нужно было, чтобы только есть там да спать». А потом добавил, так и не дав понять Рэтлифу, где под шуткой кроется зерно истины: «Одно время похоже было, что меня от всего этого избавят, растащат дочиста. Да народец-то у нас вишь какой: до того обленились, уже на лестницу не залезть, чтобы доски поотдирать, какие остались. Скорее в лес пойдут да дерево завалят — это им проще, чем глянуть выше собственного носа, где бы охапку дранки налущить на растопку. Все же, думаю, пускай как есть, так и стоит — что еще осталось. Пусть напоминает мне о моей ошибке. За всю жизнь это единственное, что купить-то я купил, а перепродать никому и не выходит».

Его сыну Джоди было уже лет тридцать – видный, цветущий мужчина с немного выпученными, вероятно из-за щитовидки, глазами, и не только не женатый, но прямо-таки источающий флюиды непреодолимого и незыблемого холостяковства, подобно тому как порой говорят, что от человека исходит дух святости или благородства. Крупный мужчина с намечающимся брюшком, которое лет через десять – пятнадцать обещало изрядно вырасти, пока что он ухитрялся выглядеть завидным кавалером. И зимою и летом, и в праздники и в будни он носил черный костюм добротного тонкого сукна (с сюртуком, правда, на время теплого сезона расставался), под которым неизменно белела рубашка без воротничка, застегнутая на шее массивной золотой запонкой. Впервые он надевал все это в день, когда костюм доставляли от джефферсонского портного, и с той поры носил его каждый день в любую погоду, пока не продавал кому-нибудь из негров, прилепившихся к дому Варнеров, заменяя следующим, так что чуть ли не в каждый воскресный вечер любой из его старых костюмов (либо целиком, либо представленный одной какой-нибудь частью) можно было встретить и тотчас же опознать на летних дорогах округа. В противоположность неизменно облаченному в комбинезоны окружающим, вид у него был не то чтобы похоронный, но торжественный, отчасти из-за присущих ему эманаций холостяковства, поэтому поглядишь на него и, несмотря на некоторую расплывчатость абриса и общую помятость, сразу видишь –

вот он, неувыдаемо бессмертный Первый Парень, апофеоз мужской исключительности, как порой за раздутым от водянки телом бывшего футболиста университетской команды 1909 года выпуска угадывается тень поджарого, неудержимого форварда. У родителей он из шестнадцати детей был девятым. Вел дела в лавке (номинальным владельцем которой все еще считался отец и в которой они с отцом занимались главным образом сделками по скупке просроченных закладных), на хлопкоочистителе тоже он распоряжался и за наделами арендаторов надзирал – инспектировал те разбросанные там и сям земли, которые сперва его отец, а потом оба они вместе напропалую скупали последние сорок лет.

Как-то под вечер он был в лавке, отматывал с барабана новую веревку, нарезал из нее постромки для плуга, сворачивая их и навешивая по-корабельному, аккуратными шлагами, на рядок гвоздей, вбитых в стену, и тут позади послышался стук, он обернулся и увидел в дверном проеме силуэт человека, ростом пониже среднего, в широкополой шляпе и сюртуке с чужого плеча, причем стоял этот человек со странной, прямо-таки деревянной неподвижностью.

– Ты Варнер? – сказал незнакомец голосом не то чтобы грубым, во всяком случае не намеренно грубым, а скорее как бы подзаржавевшим от редкого пользования.

– Ну, смотря который, – отозвался Джоди напористым и зычным голосом, но при этом довольно любезно. – Чем могу служить?

– Моя фамилия Сноупс. Слышал, будто у вас сдается в аренду ферма.

– Да ну? – проговорил Варнер, становясь так, чтобы лицо пришельца оказалось повернуто к свету. – И где ж это ты такое слышал? – Ферма была новая, только-только они с отцом ее приобрели, выкупив просроченную закладную, не прошло еще и недели, а этот ведь не из местных. Даже фамилия незнакомая.

Тот не ответил. Теперь Варнеру было видно его лицо: пара холодных, серых, матово-непроницаемых глаз под седеющими, сердито сдвинутыми бровями да короткая, стального цвета спутанная бороденка, густая и клочковатая, как овчина.

– А у тебя где раньше хозяйство было? – спросил Варнер.

– Западнее. – Краткость его ответа не означала ни резкости, ни пренебрежения. Просто это единственное слово приобрело в его устах завершенную и необратимую окончательность, словно он дверь за собой закрыл.

– В Техасе, что ли?

– Нет.

– Понятно. Просто отсюда к западу. Семья большая?

– Шестеро. – Теперь явной паузы дальше не предощущалось, но и торопливого перехода к следующему слову тоже не было. Однако высказано было не все. Это Варнер почувствовал еще прежде, чем тот же безжизненный голос завершил высказывание, казалось бы, нарочито противоречи-

вое: – Парень и две девки. Жена и ее сестра.

– Это же только пятеро.

– И я, – сказал мертвый голос.

– Обычно хозяин не считает себя среди своих работников, – возразил Варнер. – Так вас пятеро или семеро?

– В поле могу шестерых вывести.

И опять тон Варнера не изменился, все такой же напористый, такой же любезный.

– Не знаю, стоит ли брать арендатора на этот год. Уже ведь май на носу. Я тут прикинул, может, и сам управлюсь – с поденщиками. Если вообще стану в этом году с ней возиться.

– Ну, согласен и так, – сказал пришлый.

Варнер поглядел на него.

– Абы как, лишь бы устроиться? – Ответа не последовало. Варнер даже не мог понять толком, смотрит тот на него или нет. – А платить сколько собираешься? За аренду-то.

– А сколько берешь?

– Треть и четверть, – объявил Варнер. – За провизией сюда, в лавку. Наличных не надо.

– Ясно. А потом на каждый доллар двадцать пять центов сверху.

– Правильно, – любезно согласился Варнер. Теперь он и совсем понять не мог, смотрит тот вообще куда-нибудь или нет.

– Согласен, – сказал пришлый.

Потом Варнер стоял на галерее лавки, где человек пять

мужчин в комбинезонах, кто сидя, кто на корточках, пристроились со своими карманными ножами и обструганными палочками, и смотрел, как его посетитель, деревянно хромая, сошел с крыльца и, ни направо, ни налево не взглянув, выбрал среди привязанных под галереей запряженных в повозки и оседланных животных тощего незаседланного мула в драной плужной упряжи с веревочными вожжами, подвел его к ступенькам, неуклюже и деревянно на него вскарабкался и уехал, так и не поглядев ни разу по сторонам.

– Послушать, как он ногой топчет, подумаешь, что в нем сотни две фунтов, – сказал один из сидевших. – Кто таков, а, Джоди?

Варнер цыкнул зубом и сплюнул на дорогу.

– Сноупс его фамилия, – отозвался он.

– Сноупс? – удивился другой. – Надо же. Это он, стало быть. – Теперь не только Варнер, но и все остальные обернулись к говорившему – костистому человеку в линялом, но совершенно чистом, хотя и латаном комбинезоне, и даже свежевывритому, с кротким, почти печальным выражением лица (пока не разглядишь сразу два выражения: переходящее – мирной и успокоенной неподвижности и постоянное – явной, хотя и едва проступающей усталой замотанности), а губы у него были нежные, хранившие, казалось, юношескую свежесть (пока не сообразишь, что этот человек, видимо, просто никогда в жизни не курил) – ни дать ни взять живой прообраз и олицетворение целого разряда мужчин,

тех, что рано женятся, на свет производят одних дочерей и сами для своих жен не более чем старшие дочери. Звали его Талл. – Это же тот бедолага, что провел зиму со своим семейством в старом хлопковом амбаре у Айка Маккаслина. Он еще два года назад в ту историю был замешан – сарай тогда кто-то поджег у одного малого по фамилии Гаррис из округа Гренье.

– А? – вскинулся Варнер. – Что такое? Сарай поджег?

– Я разве говорю, что это его работа? – отозвался Талл. – Я говорю, он просто, похоже, в это замешан, как говорится.

– И сильно замешан?

– Гаррис добился, чтобы его арестовали и притащили в суд.

– Понятно, – сказал Варнер. – Обычное дело. Обозначись слегка. Он для этого просто кого-то нанял.

– Это не доказано, – возразил Талл. – Так ли, этак ли, но если Гаррис и нашел потом какую зацепку, все одно было поздно. Его уж и след простыл. А потом, прошлой осенью, в сентябре, объявился у Маккаслина. И он и его домашние батрачили у Маккаслина поденно, на уборочной, и Маккаслин пустил их перезимовать в старом хлопковом амбаре, который у него в тот год пустовал. Вот все, что я знаю. А сплетен не пересказываю.

– Я тоже, – сказал Варнер. – Мужчине-то слава досужего сплетника не к лицу. – Он стоял над всеми, широколицый, благообразный, в официальном, хотя и замызганном

черно-белом облачении: крахмальная, но засаленная белая сорочка и отвисшие на коленях неухоженные штаны – костюм одновременно торжественный и затрапезный. Коротко, но громко поцыкал зубом. – Так-так-так, – сказал он. – Сарай спалил. Так-так-так.

В тот же вечер за ужином он рассказал об этом отцу. За исключением несуразного, наполовину бревенчатого, наполовину дощатого строения, известного как гостиница миссис Литтлджон, единственным в тех местах домом, над первым этажом которого возвышался еще и второй, был дом Билла Варнера. Варнеры даже кухарку держали, которая была не только единственной прислугой-негритянкой, но и вообще единственным в тех краях человеком, находящимся у кого-либо в услужении. Она у них жила год за годом, но миссис Варнер по-прежнему не уставала повторять и сама, видимо, себя убедила в том, что кухарке нельзя доверить даже воды вскипятить без присмотра. Пока в тот вечер Джоди говорил с отцом, его мать, дородная, жизнерадостная, хлопотливая женщина, родившая шестнадцать детей, пятерых из них уже пережившая и все еще получавшая на ежегодной ярмарке призы за варенья и маринады, в запарке металась от стола на кухню и обратно, а его сестра, тихая полнотелая девочка с округлившейся уже в тринадцать лет грудью, опустив глаза, напоминавшие росистые оранжерейные виноградины, и по обыкновению чуть приоткрыв полные влажные губы, сидела за столом в мечтательно-печальном оцепенении мо-

лодой самодовлеющей женской плоти, причем чтобы не слушать, ей никаких усилий прилагать явно не требовалось.

– Ты договор с ним заключил уже? – спросил Билл Варнер.

– Даже не собирался, пока Вернон Талл не рассказал мне, что тот учинил. А теперь возьму, пожалуй, захвачу туда завтра бумагу, да пусть подпишет.

– Так, может, ты и дом ему покажешь, который спалить? Или хочешь ему на выбор оставить?

– Эт точно, – нимало не смутился Джоди. – Сейчас мы это тоже обсудим. – А потом и говорит (уже без шуток, без ложных шалопутных выпадов: удар – отбив – укол): – Все, что мне надо, это докопаться без дураков, что там с сараем. И потом, не один ли хрен, вправду это его рук дело или нет. С него хватит, если вдруг под самый сбор урожая он обнаружит, что я грешу на него. Слушай, давай вот как рассудим... – Он перегнулся через стол, набычившись, жилы вздуты, глаза выпучены. Мать только что выскочила на кухню, и оттуда слышалось, как она неугомонно и горласто распекает чернокожую кухарку. А дочь – та и вовсе не слушала. – Имеется надел земли, с которой то семейство, что им владеет, шиш чего получить собиралось, тем паче когда уже и время-то упущено. И тут появляется этот малый, арендует ферму из доли, а в тех краях, где он прежде пробавлялся, сарай спалили. Не важно, он подпалил сарай или не он, хотя проще будет, если мне удастся узнать точно, что без него там

не обошлось. Главное вот что: сарай сгорел, пока он по соседству околачивался, и улик хватило, чтобы он почуял жареное и удрал. И вот он появляется и арендует эту землю, с которой мы всяко шиш чего получить собирались, по малой мере об этот год, и мы его довольствуем через лавку, все честь по чести. Он снимает урожай, и хозяин земли продает его, чин чином, деньги наготове, и арендатор приходит за своей долей, а хозяин ему и говорит: «А ну-ка, что это там поговаривают про тебя да про тот сарай?» И все. Только и забот. Что, дескать, там такое поговаривают про тебя да про тот сарай? – Отец и сын глядели друг на друга глаза в глаза – слегка выпученные, темные, без блеска у одного и голубые, маленькие и колючие у другого. – Что он на это скажет? Что ему остается, кроме как «Ладно, ваша взяла».

– Ну, а твой счет – в лавке-то, за провизию – поминай как звали?

– Эт точно. Тут на кривой не объедешь. Но, слушай-ка, худо-бедно человек просто так, за здорово живешь растит тебе урожай – это же стоит того, чтобы хоть покормить его, пока он работает... Обожди-ка. – Джоди помедлил, соображая. – Прах тебя дери, мы даже без этого обойдемся: он у меня пару трухлявых дранок на своем пороге найдет, да на них накрест спичку – как раз наутро после того, как с Божьей помощью управится с окучиванием, – и ему уже ясно: пиши пропало, пора уносить ноги. Это снимает со счета за провиант месяца два, а нам всего-то и хлопот, что принанять кого-ни-

будь урожай собрать. — Глаза в глаза они глядели друг на друга. Для одного из них дело было, что называется, в шляпе, он уже видел воочию результаты и говорил так уверенно, словно прошло уже по меньшей мере полгода. — Прах подери, ему и деваться некуда! Не огрызнется даже! Не посмеет!

— Гм, — произнес папаша. Из кармана незастегнутого жилета он достал прокуренную тростниковую трубку и принялся набивать ее. — Ты бы от таких лучше подальше держался.

— Оно конечно, — отозвался Джоди. Он взял из фарфоровой подставки на столе зубочистку и снова уселся. — Да ведь нехорошо же — сарай-то поджигать. А коли завелась у кого дурная привычка, будь любезен за нее и поплатиться.

Ни на следующий день он не пошел никуда, ни через день. Но на третий день, едва солнце к закату, оставив своего чалого дожидаться на привязи у одного из столбов галереи, он сидел в задней комнате лавки за шведской конторкой (выдвижная ее крышка целиком убиралась в заднюю стенку, открывая столешницу) — сгорбившись, черная шляпа на затылке, одна здоровенная, поросшая черными волосами ручища, тяжелая и неподвижная, как копченый окорок, придерживает бумагу, в другой перо, — сидел и выводил своим крупным, неспешным и развалистым почерком слова контракта. Через час, с подсушенным и аккуратно сложенным контрактом в заднем кармане, уже в пяти милях от поселка он осаживал коня рядом с остановившейся посреди дороги бричкой. Немилосердной своей участью потрепанная и облеплен-

ная засохшей, еще зимней грязью, она была запряжена парой лохматых лошадок, на вид таких же звероватых и необузданных, как горные козлы, и почти таких же низкорослых. В задок к ней был прилажен ящик из листового железа, размерами и формой вроде собачьей конуры, но разрисованный под сельский домик, с окошками, причем в каждом нарисованном оконце красовалась нарисованная женская головка, с бессмысленной ухмылкой склоненная над нарисованной швейной машинкой, – но вот конь стал, и Варнер с возмущенным и растерянным видом уставился на седока брички, который только что с невинной улыбкой, как бы между прочим, осведомился: «А что, Джоди, говорят, у тебя новый арендатор?»

– Прах тебя дери! – взвился Джоди. – Да не хочешь ли ты сказать, что он и еще что-нибудь спалил? Попался, и после этого – опять?

– Ну, – слегка замялся человек в бричке, – не знаю, ругаться бы не стал – тот ли он сарай поджег, другой ли, а может – и ни одного. Штука тут в том, что оба они загорелись, когда он более или менее поблизости болтался. Можно подумать, пожары тащатся за ним по пятам, как за другими собаками. – Он говорил мягко, с ленцой, ровным тоном – не сразу заметишь, что проницательности в его голосе даже побольше было, чем насмешки. Это был Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок. Он жил в Джефферсоне, но колесил на своих кряжистых лошадках вдоль и поперек по че-

тырем округам, везде таская за собой размазанную собачью конуру, в которую как раз помещалась настоящая машинка. Потрепанная и замызганная, его бричка сегодня тут попадется, а завтра где-нибудь за два округа – крепкие разномастные лошадки пасутся себе на привязи в ближнем теньке, а сам Рэтлиф, с его привлекательной, добродушно-понятливой физиономией, уже сидит в чистой синей рубашке с расстегнутым воротом среди мужчин, расположившихся на корточках у какой-нибудь придорожной лавки, либо в обществе женщин, среди провисших бельевых веревок, корыт и закопченных котлов для кипячения у ручья или колодца (все так же на корточках и все так же, по видимости, больше всех болтая, но на самом деле еще больше прислушиваясь, а насколько больше – это только впоследствии выяснялось), или на веранде домика, сидит себе уже благопристойно, в плетеном кресле – вежливый, приветливый, обходительный, остроумный и непроницаемый. Продавал он от силы машинки три в год, остальное время приторговывал землей и скотиной, подержанным хозяйственным инвентарем и музыкальными инструментами – в общем, всем, от чего хозяин не прочь избавиться, а заодно, вездесущий, как газета, разносил от дома к дому новости, с четырех округов собранные, да передавал из уст в уста кому какие надо поручения касательно свадеб и похорон, солений и варений, надежный, как почтовое ведомство. Никогда ни о ком не забудет, а знает всех – не то что людей, а каждого мула и собаку

в окружности полусотни миль.

– Право слово, огонь будто по пятам бежал за его фургоном, откуда этот Сноупс ехал к дому, в который его де Спейн пустил – барахло на возу навалено так, словно у Гарриса – или где они там раньше жили – он только во двор фургон загнал да приказал всем этим котлам и кастрюлям: «Грузитесь!» – и тотчас кровати, стулья, печка и все прочее своим ходом в фургон попрыгали. Вроде и кое-как, а с толком, сноровисто, плотно, будто им это дело привычное – переезжать, да без всякой сторонней помощи. И этому Эбу, и сыну его, который постарше, Флем они его называли... Был у них и еще один, маленький такой, где-то я, помнится, его однажды видел. Вот его с ними не было. Теперь-то уж точно нет. Не иначе как забыли его покликать, чтобы вовремя, значит, из того сарая убрался. Ну так вот, Эб с Флемом на козлах сидят, а две девки здоровенные поставили на пол фургона стулья – и на стульях, а Сноупсова супруга и сестра ее вдовая – те сзади, на барахле, и всем будто наплевать на них – едут ли, нет ли, да и на мебель тоже. Ну, к дому подъехали, стали, Эб глянул на него и говорит: «В такой развалюхе я бы и свиней не поселил».

Осаживая коня, Варнер в бессловесном ужасе пучил глаза на Рэтлифа.

– Ну так вот, – продолжал Рэтлиф. – Только фургон стал, Сноупсова жена и эта вдовица вылезли и принялись разгружаться. А те две девки сидят себе на своих стульях,

обе в праздничных платьях, не шелохнутся, знай сладенькой смолкой чавкают, покуда Эб, обернувшись, не прикрикнул на них, чтоб шли туда, где миссис Сноупс и ее сестрица с железной печкой в обнимку барахтаются. Шуганул он их (будто пару телок, которых колом бы треснуть, да жаль, все же деньги плачены), а сами сидят с Флемом, наблюдают, а эти девки, кровь с молоком, взяли в фургоне одна фонарь, другая веник, весь размочаленный, и опять стоят, но тут уж Эб с козел свесился да как щелкнет ту, что поближе, вожжой поперек зада. «А ну, – рявкнул, – шевелись, живо в дом, а после подсобишь мамане с печкой». Потом с Флемом вместе слезли и пошли проведать де Спейна.

– И прямо к тому сараю? – не удержался Варнер. – Прямо так сразу пошли и...

– Нет, нет. Это потом. С сараем это потом. Похоже, тогда-то они еще знать не знали, где и сарай стоит. Сарай сгорел, когда время пришло, все в свой черед, этого у Эба не отнимешь. А тогда они просто де Спейна проведать зашли, чисто по-дружески: ясно ведь, где поле, и ясно, что надо там начинать ковыряться – все же середина мая. Прямо как сейчас, – добавил он с ангельски невинным видом. – Потом, опять же, ходит слушок, будто он всегда свои арендные контракты заключает позже всех. – Сказал и даже не усмехнулся. Та же лукавая смуглая физиономия, приветливая и непроницаемая, и те же лукавые невозмутимые глаза.

– Короче! – нетерпеливо перебил Варнер. – Если он под-

жигает, как ты рассказываешь, то мне аж до Рождества не о чем волноваться. Ближе к делу. Что ему надо, чтобы начать чиркать спичками? Может, какие признаки вовремя угадать удастся.

– Ну так вот, – продолжал Рэтлиф. – Вышли они на дорогу – куда миссис Сноупс и вдовица с печкой барахтаются, а девки стоят-прохлаждаются, одна с проволочной крысоловкой, другая с ночным горшком – и отправились к дому майора де Спейна, да не абы как, а свернули по боковой дорожке, где та куча навоза лежала, конского, да еще нигер говорит, будто Эб в нее нарочно вляпался. Кто его знает, может, нигер в окошко за ними следил. В общем, Эб проволок за собой это дело через все крыльцо, стучится, а когда нигер сказал ему, чтоб вытер ноги, Эб отпихнул его да и вытер (по словам того нигера) все, что еще оставалось, о сто-долларовый ковер, стал посредине и орет: «Де Спейн! Эй! Де Спейн!» – пока жена де Спейна не вышла, на ковер посмотрела, потом на Эба и, не говоря худого слова, велела ему выйти вон. Тут и де Спейн пришел к обеду, и я так понимаю, что миссис де Спейн ему в загривок вцепилась, потому что и свечереть не успело, как он уже подъезжает к Эбову дому, и следом на муле нигер, ковер везет, а Эб сидит на табурете, косяк подпирает, и тут де Спейн ему: «Какого дьявола ты не в поле?» – а Эб говорит (не встал, ни чтоб даже зад оторвать): «Ну, может, завтра начну. У меня такого в заводе нет, чтобы переехать и в тот же день начинать горбатить»,

а тот вроде как не слышит: я так понимаю, миссис де Спейн здорово ему на загривок села, потому что он прямо окоченел там на лошади, только все повторяет: «Ну зараза, Сноупс, ну зараза», а Эб сидя отвечает: «Если б я так заботился о ковре, уж и не знаю, стал бы я его класть туда, где каждый кто ни попадя того и гляди натопчет».

Рэтлиф и теперь не усмехнулся. Сидел себе расслабленно в бричке, глядя лукавыми своими умными глазами, физиономия невозмутимая, смуглая от загара, чисто вымытая и выбритая, рубашка совершенно чистая, хоть и выцветшая, – и говорил тоном вполне серьезным, но с усмешливой потяжкой, а Варнерово набрякшее, кровью налитое лицо маячило сверху.

– В общем, Эб гаркнул через плечо в дом, выходит мордатая деваха, и Эб говорит: «Возьми вон у него ковер и вымой его». Ну, и на следующее утро нигер обнаружил этот ковер, скатанный и брошенный на крыльцо под дверь, и снова на крыльце натоптано, только теперь это просто грязь была, а потом, говорят, когда миссис де Спейн на сей раз ковер раскатала, де Спейну еще жарче стало, чем прежде, – нигер говорит, что эти-то вместо мыла кирпичной крошкой навоз оттирали, – так что еще до завтрака де Спейн был уже у Эба в воротах (как раз Эб с Флемом запрягали – а как же, в поле-то ехать) – сидит на своей кобыле злющий, точно встрепанная оса, черными словами кроет, причем не столько Эба, сколько все на свете ковры и весь конский навоз в совокуп-

ности, а Эб молчком, молчком, супонь застегнет, подпругу подтянет, пока наконец де Спейн не выложил, мол, ковер ему во Франции в сотню долларов обошелся и пускай, дескать, Эб готовит за него двадцать бушелей зерна – это с урожая-то, а Эб еще и не сеял. С тем де Спейн домой отправился. Он-то, поди, все это дело про себя уже и похерил. Он, поди, про себя думал, только бы от жены отвязаться, сбор кукурузы это когда еще, глядишь, и не вспомнил бы про эти двадцать бушелей зерна. Только Эбу такое не по нутру. Словом, в аккурат на следующий вечер – майор как раз, скинув башмаки, отдыхал в садовом гамаке из бочарных клепок, – а тут помощник шерифа заходит, мол, то да се, пятое-десятое, и в конце концов выкладывает, что этот Эб взял да подал на де Спейна в суд.

– Прах подери, – все бормотал Варнер. – Прах подери.

– Во-во, – отозвался Рэтлиф. – Вот и де Спейн примерно так же выразился, когда наконец в толк взял, что к чему. Ну и, значиц-ца, наступает суббота, фургон подъезжает к лавке, вылезает Эб, в пасторской черной шляпе и сюртуке – топ-топ-топ костяная нога – и к столу: ему еще (это дядя Бак Маккаслин сказал) полковник Джон Сарторис самолично ее прострелил, когда во время войны Эб его каурого жеребца украсть пытался, а судья и говорит: «Я рассмотрел вашу жалобу, мистер Сноупс, но вот не нашел я ничего, что бы в законах насчет ковров говорилось, тем паче насчет конского навоза. Но, думаю, надо ее удовлетворить, потому что два-

дцать бушелей – это для вас чересчур, недосуг вам будет – вы ж у нас человек занятой – собрать эти двадцать бушелей. Так что думаю стробовать с вас за порчу того ковра... зерна десять бушелей».

– Тут он сарай-то и поджег, – сказал Варнер. – Так-так-так.

– Не знаю, ручаться бы не стал, – сказал, нет, повторил Рэтлиф. – Штука тут в том, что в аккурат в ту же ночь сарай майора де Спейна загорелся, и все там пропало. Только – случись же так! – де Спейн как раз подоспел туда примерно об это же время, ну, потому что слыхал кто-то, как он по дороге шпарит. Я не к тому, что он подоспел настолько вовремя, чтобы тушить, но достаточно вовремя, чтобы обнаружить, что там и без него уже шустрит некто или нечто, и достаточно подозрительное, чтобы оправдать стрельбу, ну, он и жажнул, с кобылы не слезая, в это самое нечто разика три-четыре, пока оно буераками от него не оторвалось, где ему-то на лошади невпротык. Так и не может сказать, кто это был, потому что никакому зверю хромать не запретишь, ежели такое выйдет его желание, да и белой рубахой всякий ведь может обзавестись, правда, загвоздка в том, что, когда он примчался к Эбову дому (а долго он навряд ли задержался, судя по прыти, с которой, как тот парень слышал, он по дороге шпарил), Эба и Флема дома не оказалось – четыре бабы, и никого больше, да недосуг было де Спейну под кроватями шарить, потому что с сараем этим впритир-

ку стоял амбар, крытый кипарисом и полный зерна. Ну, он махом назад, а там уже его негры бочки с водой подтащили, мешки из-под пакли намачивают, чтобы, значит, этот амбар обкладывать, и первый же, кого он углядел, это Флем – рубашечка белехонька, стоит, ручки в карманы, табак жует. «Вечер добрый, – это Флем ему. – Сенцо-то, ох, полыхает», а де Спейн с кобылы орет: «Говори, где папаша! Где этот...», а Флем этак спокойненько: «Если его тут нет поблизости, стало быть, домой пошел. Мы с ним оба враз выскочили, как полыхнуло». Ну так и без него знал де Спейн, и откуда они выскочили, и почему. Да что толку-то, ведь говорю же: если где двое собрались, так отчего ж не может меж ними один хромать, а другой белую рубаху натянуть, а что в огонь один из них кинул, когда де Спейн увидел и пальнул первый раз, так это, видать, банка с-под керосина была. Ну так вот, значит, на следующее утро сидит он, завтракает – лицо в ожогах, брови спалил, да и волосы местами, а тут нигер входит, говорит, пришел к нему кто-то; перебирается он в кабинет, а это Эб, уже в своей пасторской шляпе и сюртуке, и фургон у него уже опять нагружен, только его-то Эб с собой в дом показывать не приволок. «Похоже, мы с вами не сойдемся, – это Эб говорит, – так что, чем зря собачиться, я, надо быть, нынче же утром и съеду». А де Спейн говорит: «А как же контракт?» А Эб говорит: «А я его расторгаю». А де Спейн так сидит и только повторяет: «Расторгаю. Расторгаю», а потом и говорит: «Да я б его к чертовой матери

и еще сто таких же, да в тот сарай, чтоб он сгорел, лишь бы наверняка знать, ты это был или не ты, в кого я стрелял вчера ночью». А Эб говорит: «Подавайте в суд и разбирайтесь. В тутошних местах манера такая у судей: все решают в пользу истца».

– Прах подери, – тихонько пробормотал Варнер. – Прах подери.

– Тут развернулся Эб и поковылял своей костяной ногой обратно к...

– И спалил арендаторский дом, – подхватил Варнер.

– Нет, нет. Я ничего не говорю, может, он и поглядывал на него, как один тут вспоминает, словно бы с сожалением – ну, когда отъезжал. Но нет, ничего там больше ни с того ни с сего не загорелось. Ну, не тогда то есть. Я ведь не...

– Вот оно как, – перебил Варнер. – Говоришь, он еще и остатки керосина шваркнул в огонь, когда де Спейн начал палить в него. Так-так-так. – Лицо его налилось, вот-вот удар хватит. – И теперь угораздило меня как раз его-то из всей местной шушеры и выбрать себе в арендаторы. – Он принялся смеяться. Вернее, принялся быстро повторять: «Ха. Ха. Ха», но это он только воздух так выдыхал через рот, ну, может, еще губы кривил, а глаза – нет, до глаз так дело и не дошло. Потом перестал. – Ладно, с тобой хорошо, а ведь мне недосуг. Подспею, может, еще настолько вовремя, чтобы он от меня отвязался ну хоть за какой-нибудь гнилой закут из-под хлопка.

– Ну, пусть за сарай, но пустой хотя бы, – крикнул Рэтлиф ему вдогонку.

Час спустя Варнер снова осаживал заплясавшего жеребца, на этот раз у ворот, вернее – у проема в заборе из заржавленной и обвисшей проволоки. Сами ворота, вернее, то, что от них оставалось, сорванные с петель, лежали, завалившись на сторону, а из щелей между подгнившими планками лезла трава и всяческий бурьян, словно меж ребер брошенного скелета. Всадник дышал тяжело, но не от скачки. Напротив, едва приблизившись к цели настолько, что, по его расчетам, дым, если он был, уже был бы виден, стал все больше сдерживать коня. Тем не менее теперь, осадив коня перед дырой в заборе, Варнер дышал тяжело, его даже пот прошиб; сопя, он глядел на бесхребетно покосившуюся лачугу, вычерненную дождями и непогодой, как старый пчелиный улей, глядел на двор, голый, без единого деревца и кустика, и на лице Джоди отражалась быстрая и напряженная работа мысли, как у человека, который подбирается к неразорвавшемуся артиллерийскому снаряду.

– Прах подери, – снова тихо сказал он. – Прах подери. Три дня уже тут околачивается, и до сих пор даже ворота не починил. А я даже напомнить не смею. Не смею подать виду, будто знаю даже, что есть забор, на который их навешивают. – Он яростно передернул поводьями. – Пошел! – крикнул он коню. – Поторчишь тут подольше, еще и тебя подожгут.

Проезд (и не дорожка, и не тропа, просто два еле различимых параллельных колесных следа, исчезающих под заскорузлым бурьяном и молодью нынешней весенней травки) тянулся к шаткому, порастерявшему ступеньки крыльцу совсем нежилого на вид дома, за которым Джоди следил теперь настороженно, весь натянутый как струна, словно опасаясь засады. Он смотрел так пристально, что взгляд упускал детали. Внезапно в окне, где не было даже рамы, заметил голову в серой суконной кепке, причем не мог бы сказать, когда голова там появилась; показавшийся в окне жевал, и его нижняя челюсть двигалась размеренно и беспрерывно, каждый раз странно выпячиваясь вбок, а едва Джоди крикнул «Эй!» – голова снова исчезла. Только он собирался крикнуть снова, как увидел, что за домом в воротах участка возится какой-то человек, он двигался как деревянный, и Джоди тотчас же его узнал, хотя сюртука в этот раз на нем не было. Тут до слуха Джоди донеслись мерные клики заржавленного колодезного блока, а потом и два монотонных, неразборчиво-громких женских голоса. Заехав за угол, он увидел все разом: пару близко поставленных высоких столбов с перекладиной, словно макет виселицы, рядом две крупные, совершенно недвижимые девки, которые своим сонно-статичным единением с первого же взгляда наводили на мысль о скульптурной группе (тем более что обе говорили разом, обращаясь к кому-то далекому, а может, просто вещали в пространство, друг друга вовсе не слушая), и неподвижность их не наруша-

лась даже тем, что одна из них, перегнувшись и напряженно вытянув руки, ухватилась за колодезную веревку, точь-в-точь аллегорическая фигура, фрагмент резьбы, символизирующий некое невероятное физическое усилие, умершее в зародыше, хотя мгновение спустя блок снова начал издавать свой ржавый клик, но перестал почти тотчас же, и голоса тоже смолкли, как только вторая из девиц заметила Варнера, при этом первая теперь застыла в позе, противоположной предыдущей, с веревкой в опущенных руках, и оба скуластых, ничего не выражающих лица, медленно и согласно повернувшись, проводили его взглядами.

Он пересек лысый двор, весь в мусоре, оставленном прежними обитателями, – зола, глиняные черепки, консервные банки. У забора мужчине помогали еще две женщины, и вся троица уже заметила всадника, потому что он видел, как одна из женщин обернулась. Но сам глава семьи («Сволочь, душегуб колченогий», – подумал Варнер с бессильной яростью) ни глаз не поднял, ни даже трудов своих не прервал, пока Варнер не подъехал сзади к нему вплотную. Теперь уже обе женщины смотрели на Джоди. На одной была выгоревшая на солнце широкополая шляпа, на другой – некий бесформенный головной убор, который когда-то, должно быть, принадлежал все тому же мужчине, а в руке она держала полупустую ржавую банку гвоздей, гнутых и ржавых.

– Добрый вечер! – сказал Варнер, запоздало поймав себя на том, что чуть ли не кричит. – И вам, сударыни, добрый

вечер!

Мужчина обернулся, неторопливо, в руке держа молоток – обе лапки гвоздодера отломаны, поржавевшая головка насажена на неструганое полено, – и снова взгляд Варнера наткнулся на холодные, непроницаемые агатовые глаза под свирепым сплетением бровей.

– Что ж, здорово, – сказал Сноупс.

– Дай, думаю, подъеду, спрошу, что вы решили, – заговорил Варнер, и снова чересчур громко; не совладать с собой, да и только. «Слишком много чего сразу в голове держать приходится, чтобы еще и за этим следить», – подумал он, одновременно начиная про себя произносить: «Прах подери». И снова: «Прах подери, прах, зола и пепел», будто самому себе напоминая, чем может обернуться малейшее ослабление бдительности.

– Дак что ж, остаемся, пожалуй, – раздалось в ответ. – Ну, дом, конечно... я бы в нем и свиней не поселил. Ну да как-нибудь управимся.

– Ничего себе! – вырвалось у Варнера. Это он на крик уже сорвался; ну и сорвался, плевать. Но больше он не кричал. Он больше не кричал, потому что больше не говорил ничего, потому что нечего тут больше было говорить, хотя в мозгу билось одно и то же: «Прах подери. Прах подери. Прах подери... Просто сказать «Уходи» и все – смелости не хватает, а спровадить куда-нибудь – так некуда мне их спровадить. Ведь даже под арест отправить его за поджог

сарая не посмею: вдруг он и у меня сарай возьмет да запалит». Когда Варнер заговорил снова, тот, с молотком, начал было уже обратно к забору отворачиваться. Теперь он стоял вполоборота, глядя снизу на Варнера не то чтобы почти-тельно или хотя бы терпеливо, а просто выжидаяще. – Ладно, – сказал Варнер. – Про дом можно и поговорить. Потому что зачем нам ссориться. Ссориться не надо. Если там что не так, вам только и делов, что зайти в лавку. Нет, не надо даже к лавке ходить: просто с кем-нибудь мне передайте, и я подъеду сам, без проволоочки, одна нога там, другая здесь. Понятно? Вдруг что-нибудь, ну, не понравилось, так вы...

– Да когда ж я с кем ссорился, – отозвался тот. – У меня этих разных хозяев с тех пор, как начал землю пахать, штук пятнадцать было или двадцать, и ни с кем не ссорился. Как ссоры начнутся, так ухожу. Все? Больше ничего не надо?

«Все, – подумал Варнер. – Все». Он двинулся обратно: вновь этот двор, эта лысая и замусоренная мерзость запустения, вся в шрамах от кострищ, где среди обугленных по концам палок валялись почерневшие кирпичи, на которых когда-то кипятили в котлах белье и палили свиные туши. «Пусть мне никогда в жизни больше никакой удачи не будет, лишь бы эту беду пронесло!» – подумал он. Снова раздался скрип колодезного блока. На сей раз скрип при его приближении не прекратился, и оба скуластых лица – одно неподвижное, другое в непрерывном движении вниз-вверх, ритмичном, в лад не слишком музыкальным стенаниям блочно-

го колесика, как под метроном, – опять, будто неразъемно склепанные и синхронизованные шарнирным механизмом, неспешно повернулись, следя за Варнером, как он, минув дом, вступает на ту же едва приметную дорожку, ведущую к поломанным воротам, которые, конечно же, когда он в следующий раз сюда приедет, будут по-прежнему гнить в чертополохе. Контракт все еще лежал у него в кармане, составленный так обдуманно, так осторожно, с чувством такого удовлетворения, что теперь оно ему самому было в диковину – может, это происходило в каком-то другом времени, а скорее вообще не с ним, а с кем-то другим. Контракт все еще не подписан. «Можно включить туда пункт о пожаре, – подумал он. Но даже коня не придержал. – Запросто. А потом новый сарай этим контрактом крыть вместо дранки». И он не остановился. Час был не ранний, и он пустил коня свободной иноходью: так он до самого дома дотянет, если в холмах, когда подъемы пойдут, дать ему чуточку дух перевести, – а когда уже отмахал порядочно, вдруг заметил человека, прислонившегося к дереву у дороги, того самого, чье лицо до этого видел в окошке арендаторского дома. Только что дорога была пуста, и вот, откуда ни возмись, уже стоит на опушке рощицы у обочины – та же суконная кепочка, та же размеренно жующая челюсть, – как из-под земли вырос, да у коня чуть ли не перед мордой, а вид при этом такой, словно он случайно здесь оказался, но об этой его повадке Варнер и вспомнит и задумается лишь много позже. Чуть было не проехав ми-

мо, он потянул за повод. На крик теперь уже он не сорвался, его мясистое, крупное лицо было учтивым и настороженным.

– Привет, – сказал он. – Ты Флем, что ли? Я Варнер.

– Да ну? – отозвался тот. Потом сплюнул. Лицо у него было широкое и плоское. Глаза цвета болотной лужицы. Такой же полноватый, как и сам Варнер, но на голову покороче; в замызганной белой рубашке и серых дешевых штанах.

– Ты мне тут кстати встретился, – продолжал Варнер. – Говорят, у твоего отца бывали пару раз неприятности с хозяевами участков. Неприятности, которые могли плохо кончиться. – Тот продолжал жевать. – Может, ему каждый раз хозяева какие-нибудь вздорные попадались, не знаю. Не знаю и знать не хочу. Я что хочу сказать: ошибку – любую ошибку – можно ведь так исправить, что при этом в нормальных отношениях остаешься, ну, с тем, кто тебе что-нибудь поперек сделал. Разве не так? – Тот продолжал размеренно жевать. Лицо его было пустым, как поднявшееся над кастрюлей тесто. – Тогда ему не взбредет в голову, будто, чтобы утвердить свои права, он непременно должен сделать что-нибудь такое, после чего ему придется собирать манатки и на завтра же уносить ноги, – втолковывал Варнер. – И тогда не наступит день, когда в очередной раз он дернется туда-сюда – глядь, а уж и новых мест не осталось, куда удрать. – Варнер умолк. На этот раз он ждал так долго, что малый в кепочке в конце концов высказался, правда, у Варнера потом

не было уверенности – может, и не потому, что так долго.

– Дак вон же, – говорит, – мест сколько всяких.

– Эт точно, – примирительно сказал Варнер, большой, благожелательный. – Но нельзя же их только бросать и бросать – пробросаешься! Тем более когда повод к этому такой, что, ежели с самого начала по-человечески разобраться да все ладком обговорить, все было бы тихо-мирно. И все бы можно было в пять минут уладить, если только нашелся бы рядом кто-то другой, чтоб взять того за руку, дескать, погорячился, дело житейское – бывают же люди просто горячие не в меру – взять его за руку да сказать ему: «Постой, хозяин против тебя зла не держит. Всего и делов – поговори с ним, все и выяснится. Я это точно знаю, *потому что мне насчет этого слово дали*». – Он опять подождал. – Особенно если бы парню – ну, о котором мы сейчас говорили, который взял бы того за руку и сказал все это, – глядишь, что-нибудь и перепало за то, что он того утихомирит. – Варнер снова замолчал. Немного погодя опять заговорил другой:

– А чего перепало бы?

– Ну, как чего? Работать на хорошем поле. Кредит в лавке. Земли побольше, если он чувствует, что может управиться.

– С земли ничего не перепадет. По мне, так и вообще, пожалуй, скорей бы от нее отделаться.

– Тоже верно, – согласился Варнер. – Допустим, он за другое какое дело хочет взяться – ну, этот парень, что мы говорили. Так ведь надо еще, чтобы помогли ему, дали подзара-

ботать. И чего бы лучшего, чем...

– А лавка-то ваша, что ли?

– ...лучшего, чем... – опять начал было Варнер. И осекся. – Что? – сказал он.

– Говорят, ваша лавка-то.

Варнер уставился на него. Теперь лицо Варнера уже не было учтивым. Оно было просто совершенно неподвижным, совершенно спокойным и внимательным. Он полез в нагрудный кармашек и достал сигару. Сам он не пил и не курил, будучи от природы наделен столь счастливой конституцией, что чувствовать себя лучше все равно некуда, а против собственного естества идти – как он, верно, сам бы выразился – только Бога гневить. Но он всегда носил их при себе две-три штуки.

– Держи сигару, – сказал он.

– Не употребляю.

– А жевать – жуешь, а? – попытался усмехнуться Варнер.

– Ну, бывает, и пожую, центов на пять, для вкуса. Одно дело жевать, соки вытягивать, но чтоб деньги огнем жечь – до этого не дошло.

– Эт точно, – сказал Варнер. Он поглядел на сигару, спокойно произнес: – Бог даст, до этого и не дойдет ни у тебя, ни у кого другого из ваших. – Он сунул сигару обратно в кармашек. С присвистом выдохнул. – Ну хорошо, – сказал он. – С осени. Сперва пусть он урожай соберет. – У Джо-ди никак не получалось уследить, когда тот смотрит на него,

а когда нет, но теперь ему дано было пронаблюдать, как тот одну руку поднял, а другой с бесконечным пренебрежением стряхнул с рукава что-то пренебрежимо малое. Еще раз Варнер с силой выдохнул через ноздри. Теперь это прозвучало как вздох. — Ну хорошо, — сказал он. — Тогда со следующей недели. Потерпишь, что там осталось, или как? Но ты мне за это ручаешься.

Тот сплюнул.

— Ручаюсь за что? — проронил он.

Через две мили тени вокруг сомкнулись, и пали сумерки, уже такие краткие в конце апреля, и забелели деревца кизила среди других деревьев, более темных, — стоят, раскрыв вздетые ладони, словно монахини на молитве; и вот уже вечерняя звезда, уже козодой. Поспешая к яслям, конь бежал резво по вечернему холодку, как вдруг Варнер, потянув за повод, остановил его и так попридержал на добрую секунду.

— Прах тебя дери, — вслух произнес он. — Ведь он стоял-то в аккурат там, где его никто из дома не углядит.

Глава вторая

1

К поселку опять подъезжал Рэтлиф, агент по продаже швейных машинок, правда, на этот раз вместо машинки у него в собачьей конуре содержался подержанный граммофон и новенький, еще в заводской провололочной связке, комплект зубьев для бороны, и первое, что Рэтлиф увидел, это старую белую кобылу, стоя на трех ногах подремывающую у столба ограды, а чуть погодя показался и сам Билл Варнер, который сидел все в том же домодельном кресле, на фоне взбегающих по склону заглохших лужаек и одичало разросшихся садов усадьбы Старого Француза.

– Добрый вечер, дядя Билл, – сказал Рэтлиф приветливо, обходительно, даже с почтением. – Говорят, вы с Джоди нового приказчика завели в лавке.

Колочие маленькие глазки Варнера внимательно на него поглядели из-под рыжеватых, слегка насупленных бровей.

– Уже разнеслось, стало быть, – отозвался он. – Со вчерашнего далеко ли бывал?

– Милях в семи-восьми, – сказал Рэтлиф.

– Ха, – сказал Варнер. – Куда же нам без приказчика!

Что верно, то верно. Всего-то и надо было, чтобы кто-

нибудь утром пришел и отпер лавку, а на ночь снова запер – только от приبلудных собак, поскольку ни бродяги, ни приبلудные негры на Французовой Балке до ночи не задерживались. По правде говоря, и сам Джоди (а Билл-то уж всяко туда не показывался), бывало, по целому дню проводил вне лавки. Покупатели заходили, обслуживали сами себя и друг друга, складывая плату за товары, известную им с точностью до последнего цента, не хуже, чем самому Джоди, в сигарный ящик, накрытый круглой проволочной корзиной из-под сыра, словно все в этой корзине – сигарный ящик, замусоленные бумажные деньги и отполированные пальцами монетки – и впрямь попало туда на сырную приманку.

– Ну, хоть будет кому теперь каждый день подметать – в лавке-то, – усмехнулся Рэтлиф. – Не каждый может похвалиться таким пунктом в своей страховке от пожара.

– Ха, – снова сказал Варнер.

Поднялся с кресла. Во рту у него был табак, и он вынул пережеванный комок, напоминавший клок мокрого сена, выкинул его и вытер ладонь о штанину. Подошел к изгороди, в которой по его распоряжению кузнец устроил затейливую калитку, действовавшую в точности как современный турникет, хотя ни кузнец, ни сам Варнер ничего похожего никогда не видывали, – только туда не монетку надо было бросить, а вынуть штифт на цепочке.

– Давай ты на моей кобыле к лавке поедешь, – предложил

Варнер, — а я в твоей колыхаге. Охота прокатиться с удобствами.

— А мы можем лошадь к бричке сзади привязать, а сами рядышком сядем, — отозвался Рэтлиф.

— Говорят тебе, на лошадь садись, — уперся Варнер. — Как раз и получится рядышком. Больно ты умный порой бываешь, как я погляжу.

— Да уж ладно, дядюшка Билл, чего там, — согласился Рэтлиф. И он попридержал колесо брички, помогая Варнеру взобраться, а сам сел на лошадь.

Они пустились в путь, Рэтлиф немного сзади, так что Варнер общался с ним через плечо, не оборачиваясь.

— А что, этот пожарник...

— Так не доказано же, — мягко возражал Рэтлиф. — Хотя в общем-то оно и плохо. Если уж приходится выбирать между убийцей и тем, на кого только думаешь, вдруг это он убил, то лучше выбрать убийцу. Хотя бы точно будешь знать, на каком ты свете. Не будешь ушами хлопать.

— Ладно, ладно, — прервал его Варнер. — Так как насчет этой жертвы оговора, этого облыжно опозоренного? Знаешь о нем что-нибудь?

— Да так, пустое, — слегка замялся Рэтлиф. — От людей чего только не услышишь. А я его лет восемь не видал. Когда-то у него еще один парнишка был, кроме Флема. Меньшой. Теперь бы ему лет десять или двенадцать уже исполнилось. Не иначе как он у них где-нибудь при переезде зате-

рялся.

– А от людей ты не услышал, может, у него за эти восемь лет совсем привычки переменились?

– Да уж, – сказал Рэтлиф. Пыль, поднятую копытами трех лошадей, подхватывал едва заметный ветерок и отдувал в сторону, на кустики дурнопыяна и собачьей ромашки, едва начинающие зацветать в придорожных канавах. – Восемь лет. А перед тем было еще пятнадцать, когда мы с ним почти что вовсе не встречались. Вырос-то я от него по соседству. То есть он года два жил там же, где я вырос. И он и мой отец оба арендовали фермы у старого Энса Холланда. Эб тогда был барышником. Как раз при мне вся его торговля лошадьми прогорела, и он подался в издолычики. По натуре-то он не сволочь. Озлился просто.

– Озлился, – повторил Варнер. Сплюнул. Потом заговорил язвительно, почти с презрением: – Приходит вчера Джо-ди, вечером, поздно. Я как увидел его, сразу понял. Ну точно как в те времена, когда он мальчишкой был – нашкодит, чувствует, что я назавтра все равно узнаю, была не была, думает, признаюсь сам. «А я, – говорит, – приказчика нанял». – «Зачем? – говорю. – Тебе что, Сэм башмаки по воскресеньям плохо начищает?» А он как заорет: «Да пришлось мне! Пришлось его нанять! Говорю тебе, пришлось!» – и без ужина спать пошел. Как ему спалось, не знаю. Не прислушивался. Но наутро вроде поспокойнее стал. Вроде как даже совсем успокоился. «А его, – говорит, – глядишь, и использовать

можно». — «Отчего ж не использовать, — говорю. — Но против этого закон есть. Да и потом, почему бы тебе просто-напросто не раскатать все по бревнышку? После бы продали как строевой лес». Тут он на меня поглядел подольше. Но это он от нетерпения, скорей бы я рот закрыл — у него-то уж все было разложено по полочкам еще с вечера. «Давай, — говорит, — глянем на это дело вот как. Человек он независимый, может постоять за свои права и свои выгоды. И допустим, что его права и выгоды — это в то же время права и выгоды кое-кого другого. Скажем, ему выгодно то же, что и этому другому, который платит одному из его родичей жалованье, чтобы те не покушались на добро того, который платит; а это добро, то есть прибыль с него (и ты, говорит, не хуже меня это знаешь), так вот, с добра с этого прибыли все больше и больше, так что ему в охотку будет, тем паче что самому не надо напрягаться — ну, он же такой независимый...»

— С тем же успехом мог бы сказать «опасный», — подхватил Рэтлиф.

— Ну, — сказал Варнер. — Ну и?

Вместо ответа Рэтлиф говорит:

— А лавка ваша часом не на Джоди записана, нет? — А на это сам же и ответил, прежде чем Варнер успел рот раскрыть: — Да уж. Что зря воду в ступе толочь? Но вообще-то Джоди ведь только с Флемом спутался. Пока Джоди его не выгонит, может, папаша Эб...

— Хватит, — сказал Варнер. — Ты сам-то что об этом дума-

ешь?

– То есть по правде что думаю?

– А за каким хреном, понимаешь ли, я перед тобой тут распинаюсь?

– Да то же думаю, что и вы, – мирно отозвался Рэтлиф. – Думаю, что я от силы двоих таких знаю, кто мог бы рискнуть шутки шутить с этой семейкой. И фамилия одного из них Варнер, но его не Джоди зовут.

– А второй кто? – спросил Варнер.

– А насчет второго ручаться пока рановато, – мягко сказал Рэтлиф.

2

Кроме Варнеровой лавки, хлопкоочистительной машины, мельницы с крупорушкой да кузни, настоящему ковалю в аренду отданной, кроме школы, церкви да трех-четырёх десятков хибар, разбросанных в пределах слышимости школьного колокольчика и церковного колокола, в селении имелась общественная конюшня с каретной и выгоном да примыкающий к нему тенистый, хотя и вытоптанный двор, посреди которого вольготно расположилось несуразное, наполовину бревенчатое, наполовину дощатое строение, – местами двухэтажное, некрашеное, оно звалось гостиницей миссис Литтлджон и, в соответствии с вывеской (приколоченной к одному из деревьев у входа почернев-

шей от непогоды дощечкой со словами «НАЧЛЕГ N ПАН-СЕОН»), давало пищу и приют заезжим скупщикам скота и коммивояжерам. Гостиницу опоясывала длинная веранда, где у стены в ряд вытянулись стулья. В тот вечер после ужина, оставив бричку и лошадей на конюшне, Рэтлиф сидел на веранде в компании пяти-шести мужчин, собравшихся из ближних домов. Они бы там собрались и в любой другой вечер, но нынче набежали, не дожидаясь, пока окончательно закатится солнце, сидели, то и дело поглядывая на чернеющий вход в лавку Варнера, подобно тому как народ сходится умиротворенно полюбопытствовать на холодеющий пепел после линчевания или на приставленную к стене лестницу и распахнутое окно после побега чьей-нибудь жены или дочери, а все потому, что в лавке, хозяин которой способен еще самостоятельно переставлять ноги и настолько еще в здравом уме, чтобы, считая деньги, себя не обсчитывать, завелся наемный белый приказчик – случай столь же неслыханный, как если бы на кухне у кого-нибудь из них завелась белая наемная кухарка.

– Ну, – один говорит, – насчет того, которого Варнер нанял, ничего не знаю. Но уж семейка! Когда у тебя в роду есть такой бешеный, чтобы то и дело у людей сараи поджигать, тут...

– Да уж, – сказал Рэтлиф. – Старина Эб по натуре-то не сволочь. Просто озлился.

Какое-то время помолчали. Они разместились по всей ве-

ранде, кто сидя, кто на корточках, невидимые друг другу. Уже почти совсем стемнело, только бледный зеленоватый отсвет на северо-западе небосклона напоминал об ушедшем солнце. Попискивал козодой, помигивали светляки, кружась между деревьев и над дорогой.

– Как озлился? – чуть погодя спросил все тот же голос.

– Так дело-то нехитрое. – Любезный и понятливый, Рэт-лиф был, как всегда, наготове. – Эта история еще во время войны началась. Он тогда сидел себе, никого не трогал, не помогал никому, но и вредить ни тем ни другим не лез – барыш да лошади, а лошадей к политике никаким боком не пристегнешь, как вдруг один является, у которого и лошадей-то отродясь не водилось, и ни с того ни с сего – бабах ему в пятку. Ну, он и озлился. А потом еще та история с тещей полковника Сарториса, Розой Миллард, с которой Эб вошел в долю по части лошадей и мулов – чинно-благородно, у него и в мыслях такого не было, чтоб чем-нибудь насолить хоть северянам, хоть южанам, одни лошади на уме да барыш, пока старая мисс Миллард не сунулась тому малому под пулю – он называл себя майором Грамби, – а после полковников сын Баярд с дядей Баком Маккаслином и с каким-то еще черномазым изловили Эба в лесу, и пошло-поехало: привязали его к дереву – или куда там они его привязали – и всыпали почем зря, хорошо как не двойной уздечкой, а кое-кто даже каленый шомпол поминает, но это по слухам. Словом, пришлось Эбу с Сарторисами расплеваться, и, гово-

рят, изрядно он по лесам поскитался, пока полковник Сарторис постройкой своей железной дороги вплотную не занялся, так что можно было, значит, без опаски на свет Божий вылезти. Ну тут он еще больше озлился. Однако по крайности надежда у него еще оставалась кой-какая, лошадки, мол, барыш, то да се... А тут он возьми да и напорись на Пэта Стампера, а Пэт его от барышничества враз отвадил. Тут уж он и вовсе остервенел.

– Говоришь, он с Пэтом Стампером схлестнулся, да еще и уздечку сохранил – дома на стенку повесить? – изумился его собеседник.

Дело в том, что Стампера здесь знал каждый. Хотя и был он в ту пору еще жив, а уже успел стать легендой, и не только в тех краях, но по всем северным округам штата Миссисипи и в Западном Теннесси: большой, плечистый человек, с брюшком и в дорогой широкополой «стетсоновской» шляпе, надвинутой на глаза, цветом напоминавшей новенькое лезвие топора, он разъезжал из округа в округ в фургоне, груженном всем необходимым для кочевой жизни; лошади для него были тем же, что для шулера карты, и сама победа над достойным противником радовала его не меньше, чем полученный барыш; а помогал ему конюх-негр, артист Божьей милостью – скульптор, да и только: любой кусок конины, пока в нем еще жизнь теплится, он мог взять, укрыться с ним от посторонних глаз в пустом сарае или конюшне – были бы только четыре стены – и, как фокусник, выйти от-

туда с таким зверем, что и мамка-кобыла не узнала бы, куда там прежнему владельцу; причем эта парочка, Стампер со своим негром, дошла до такого нечеловеческого согласия, что простым смертным и тягаться бесполезно – единое целое, о четырех руках и двадцати пальцах, а мозг общий, и разом в двух местах пребывает.

– Скажешь тоже – уздечку, – отозвался Рэтлиф. – Поквитались вчистую. Потому что если кого и обдурил Стампер, так разве только жену Сноупса. И то она этого так и не признала. Поплатилась-то она только тем, что самой пришлось в Джефферсон ехать, чтобы заполучить в конце концов сепаратор, а ей, может, и с самого начала было ясно, что рано или поздно этим кончится. Вовсе не Эб купил клячу у Пэта Стампера и продал ему две. Это все миссис Сноупс. Эб у них с Пэтом был просто вроде посредника.

Опять какое-то время помолчали. Потом все тот же голос:

– А откуда ты все знаешь? Не иначе как сам там был.

– Был, – ответил Рэтлиф. – Ездил с ним вместе в тот день за сепаратором. Жили мы примерно в миле друг от друга. Эб с моим папашей в ту пору оба состояли в арендаторах у старого Энса Холланда, так что я все время с Эбом вместе у него на конюшне околачивался. Я ведь насчет лошадок был вроде него – тоже как ненормальный. А он тогда еще не остервенел. В то время он жил со своей первой женой, той, что вывез из Джефферсона, а потом в один прекрасный день ее папаша подогнал фургон, погрузил ее туда

вместе с мебелью и сказал Эбу, смотри, мол, явишься еще по эту сторону Уайтлифского моста – пристрелю, так и знай. Детей у них не было, а мне восьмой год шел, и я, бывало, что ни утро, зайду к нему да на целый день и застряну, сижу себе с ним рядышком на заборе ихнего участка, а соседи то и дело подойдут, глянут сквозь ограду – что он за клячу опять выменял на моток хозяйской колючей проволоки или на какую-нибудь ломаную борону, а Эб знай врет им (и врет ведь как раз в меру!) – насчет того, который ей год и много ли за нее отдал. По части лошадей он был как ненормальный, сам это признавал, но вовсе не в том смысле ненормальный, как на него тогда жена кричала – то есть в тот день, когда мы притащили кобылу Бизли Кемпа, запустили ее в загончик и к дому подались, – Эб еще башмаки снял на крыльчке, чтоб ноги, значит, охолонули перед обедом, – а миссис Сноупс стоит в дверях и сковородкой размахивает, а Эб ей: «Ну Винни, полно, Винни, ну ты же знаешь, я ведь всегда был насчет хороших лошадей как ненормальный, и чего орать попусту. Благодарю лучше Господа, что он, когда мне дал на лошадей глаз завидуший, наделил меня к нему и нюхом кой-каким по этой части, да и здравым суждением».

Потому что дело-то не в кобыле. И не в том дело, что его обжулили. Вовсе его никто не обжулил, потому что за лошадь Эб отдал Кемпу ломаный пропащик да отслужившую свое Энсову мельницу для сорго, тут даже у жены возражений не было, поменялся он себе не в убыток – все ж

таки какая-никакая, а лошадь: мало что на ногах стоит, еще и от Кемпова двора до ихнего загона своим ходом доковыляла, потому как сама миссис Сноупс ему тогда сказала – ну, когда сковородкой еще замахивалась, – мол, шибко-то его на лошадях никому не облапошить – по той простой причине, что отродясь не водилось у него ничего стоящего, что можно было бы всучить кому-нибудь в обмен даже на ледащего одра. И не в том дело, что Эб забросил плуг на дальней деляне, от глаз жены подальше, сел в повозку и укатил окольными путями, с пропашником с этим да с мельницей, пока миссис Сноупс была в полной уверенности, что муж в поте лица пашет. Похоже, она уже знала то, чего ни я, ни Эб еще не знали: что кобыла эта попала к Бизли Кемпу от Пэта Стампера и что, едва коснувшись ее, Эб подцепил теперь Стамперову хворобу. Может, она и права была. Может, и впрямь Эб сам себя считал Пэтом Стампером холландовских полей, а то и всего Четвертого участка, хоть и знал он, что Стампер, даже в ответ на этакую дерзость, вряд ли к его забору припожалует мериться силами. А что, если на то пошло, так между прочим, пока он там сидел на крылечке, прохладяя ноги, а на кухне шипела и постреливала грудинка, и мы только и ждали, как бы нам ее быстренько умять, чтоб поскорей выйти обратно к загону и на забор усесться, покуда все кому не лень полюбопытствовать подходят, какую он там опять дохлятину завел, – если на то пошло, так у Эба в ту пору не только здравого суждения по части барышни-

чества было не меньше, чем у Пэта Стампера, но и самих лошадей за все те годы перебивало не меньше, чем у самого старика Энса. И если уж на то пошло, так пока мы там посиживали (а мы только и подвигались, когда тень от нас уползала), и брошенный плуг торчал в борозде на дальнем поле, а миссис Сноупс, все это видя из кухонного окошка, себе под нос ворчала: «Барышник, тоже мне! Сидит там, врет да похваляется перед кучкой никчемных олухов, аж глаза закатил, а у самого заместо хлопка и кукурузы на поле один бурьян да мышинный горошек, страшно туда и обед носить – змеи, поди, так и ползают!» – так вот, между прочим, Эб, бывало, глянет на свое приобретение, ну, которое выменял только что либо на почтовый ящик, либо на остатки семенного зерна, глянет, бывало, да и говорит сам себе: «А что? Это ж не просто лошадь, это ж почин: табунок у меня наклевывается – Бог ты мой, чудо какой табунок!»

Дело было в судьбе. Словно сам Бог надумал купить лошадь на те деньги, что у жены Сноупса были отложены на сепаратор. Правда, тут надо признать: когда Господь выбрал Эба своим торговым агентом, уж он в выборе не ошибся, у того так руки и чесались спроворить богоугодное дельце. Утром, перед тем как нам выехать, у Эба даже в мыслях не было запрягать кобылу Бизли Кемпа, потому что он понимал: вряд ли она за один день осилит все двадцать восемь миль до Джефферсона и обратно. Он собирался пойти в загон старого Энса и призанять у него мула в пару к своему,

и он так бы и сделал, кабы не миссис Сноупс. Она его ела поедом, дескать, еще не хватало, чтобы такие мощи попусту во дворе красовались, пускай в город плетутся, а там, глядишь, может, удастся сбыть эту дохлятину – ну, хоть хозяйину платной конюшни, чтобы к воротам приколотил заместо вывески. Так что это была вроде как самой миссис Сноупс идея – спровадить лошадь Бизли Кемпа в город. Ну вот мы ее и впрягли – когда я, значит, утром у них появился, – впрягли эту самую кобылу в фургон с мулом на пару. Перед тем мы два-три дня корм в нее чуть не силком пихали, чтобы по дороге не окочурилась, и вид у нее, пожалуй, стал поглаже против прежнего. Но все-таки выглядела она не ахти. Однако Эб рассудил, что это из-за мула, что, если б видно было только лошадь или только мула, все бы ничего, справное тягло, а вот поставишь ее с другой какой четвероногой тварью – и смотреть тошно. «Эх, кабы можно было, – говорит, – мула под фургон определить, чтоб тянуть тянул, а на глаза не совался, а лошадь пустить впереди одну, для виду!» Ну, Эб тогда ведь еще не озлился. Но уж все, что могли, мы сделали. Эб подумал было ей сольцы в зерно от души сыпануть, чтоб она воды напилась поболе – ребра хотя бы не так торчали, – да только знали мы, что тогда она и до Джефферсона не доковыляет, не то что назад домой, к тому же останавливаться пришлось бы у каждого ручья и колоды, чтобы сизнова ее подкачивать. Так что все, что могли, мы сделали. А могли мы только уповать на лучшее. Эб зашел в дом и появился в сво-

ем пасторском сюртуке, доставшемся ему еще от старой мисс Миллард (полковника Сарториса сюртук-то; Эб его до сих пор донашивает, вот уже лет тридцать), увязал в тряпицу те двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов кровных денежек, скопленных женой за четыре года, и мы поехали.

Насчет того, чтобы барышничать, мы и думать не думали. Насчет той кобылы – верно, подумывали, не придется ли нам ее вечером домой в фургоне везти, а Эбу самому в постромки на пару с мулом впрягаться. Ну так вот, вывел Эб упряжку из загона и по дороге пустил, этак бережно, потихоньку, полегоньку: как только ежели какой подъем, на котором текучая водица не удержится, мы тут же скок с повозки и рядом идем, и таким манером думали до самого Джефферсона дотянуть. День был погожий, жара; середина июля как-никак. А мы уже чуть не до Уайтлифской лавки доплелись, миля оставалась, причем Кемпова кобыла все так же – наполовину сама идет, наполовину едет, на дышле повиснув, а лицо у Эба все мрачней и мрачней становится с каждым разом, как лошадь ногами за дорогу цеплять начнет, и тут ни с того ни с сего глядим – кобыла вся в мыле. Голову задрала, ровно как ей раскаленную кочергу под нос сунули, и влегла в постромки – в первый раз, можно сказать, и дернула с тех пор, как Эб мула под хомут подставил и кнутом для разгона шевельнул, еще когда мы были дома, – и тут уж мы покатили под горочку да к Уайтлифской лавке: глаза у Кемповой кобылы побелели, точь-в-точь костяные грибки для штопки,

крутит ими, хвостом машет, гривой трясет, только что дым из ушей не валит. Чтоб мне провалиться – такой конь-огонь вдруг из нее образовался, куда что девалось, вроде даже ребра торчать стали поскромней. А Эб, который только что собирался окольной дорогой проехать, чтобы у лавки не показываться, на козлах приосанился, будто у себя дома на заборе, где ему никакой Пэт Стампер не страшен, и давай Хью Митчеллу и всем остальным, кто на галерее сидел, заливать, будто лошадь эта из Кентукки. Хью Митчелл даже не улыбнулся. «Да уж, – говорит. – И то думаю, куда это она запропастилась. А вот, оказывается, в чем дело: все же Кентукки не ближний свет. Пять лет назад Герман Шорт сторговал ее у Пата Стампера за мула и таратайку, а Бизли Кемп отдал за нее прошлым летом восемь долларов. А ты сколько Бизли Кемпу заплатил? Пятьдесят центов?»

Тут все и решилось. Не в том дело, что Эб так уж потратился на эту кобылу, потому что отдал-то он, можно сказать, только остов пропашника, ведь мельница для сорго, во-первых, уже свое отслужила, а во-вторых, она была все равно не его. Германов мул с таратайкой тут тоже ни при чем. Дело в тех восьми долларах Бизли Кемпа, но не потому, что Эб позавидовал Герману – все-таки Герман отдал за них мула и таратайку. Кроме того, те восемь долларов никуда за границы округа не ушли, так что на самом-то деле совсем не важно, у кого они в кармане – у Бизли или у Германа. Тут главное, что приходит какой-то чужак, какой-то Пэт Стампер,

и, здрасьте пожалуйста, йокнапатофские кровные доллары по рукам пошли! Когда меняешь лошадь на лошадь – это одно дело, тут крутись как умеешь, и сам черт тебе в помощь. Но когда из рук в руки переходят наличные деньги, это совсем другой коленкор. А когда приходит чужак и тут же доллары начинают прыгать из кармана в карман, это все равно как если к тебе в дом вломился грабитель и давай расшвыривать вещи, пусть даже он и не возьмет ничего. От такого еще и вдвойне озвереешь. Так что речь шла не о том, чтобы просто сбыть эту кобылу обратно Пэту Стамперу. Главное тут было как-нибудь исхитриться и выудить у него обратно Кемповы восемь долларов. Это я и имел в виду, когда насчет судьбы говорил, что сама судьба заставила Пэта Стампера сделать привал под Джефферсоном как раз у той дороги, по которой мы ехали в тот день, когда отправились за сепаратором для жены Эба Сноупса, – у самой дороги расположиться со своим кудесником-негром, и в аккурат в тот день, когда Эб ехал в город и в кармане у него было двадцать четыре доллара шестьдесят восемь центов, а на руках поруганная честь науки и искусства йокнапатофского барышничества, вопиющая к отмщению.

Не помню в точности, когда и как мы обнаружили, что Пэт в Джефферсоне. Может, около Уайтлифской лавки. А может, Эб, в его тогдашнем расположении духа, не только естественно и неминуемо должен был встретиться со Стампером, но сама судьба и провидение Господне устроили ему эту

встречу – иначе бы и до Джефферсона не добрался. Ну, словом сказать, едем дальше; всякий раз, как дорога на холм, вылезает, чтоб этим восьми долларам Бизли Кемпа тянуть было полегче, рядом идем, а лошадь – ничего, влегает в хомут со всей мочи, хоть, правда, тянет-то все больше мул, причем Эб шагает по свою сторону фургона и на чем свет стоит поносит Пэта Стампера, и Германа Шорта, и Бизли Кемпа, и Хью Митчелла, а когда вниз дорога, Эб фургон жердиной притормаживает, чтоб хомутом кобыле уши не пооборвало, а заодно и всю шкуру наизнанку, как чулок, не вывернуло, и по-прежнему бранит Пэта Стампера, и Германа, и Бизли, и Митчелла, и так до тех пор, пока мы не добрались до моста на третьей миле, тут Эб с дороги поворотил в кусты, выпряг мула, взнуздал его вожжой, чтоб мне верхом ехать, и говорит, вот тебе, мол, четверть доллара, езжай в город, привези на десять центов селитры, на пять дегтя и еще крючок рыболовный, десятый номер, и быстро назад.

Так что до города мы добрались только под вечер. Поехали сперва к Стамперову лагерю, с ходу в него влетели – лошадь теперь на хомут наваливалась будь здоров как: глаз бешеный, чуть не как у самого Эба, пасть в пене, где Эб ей десны селитрой натер, на груди парочка царапин, вроде как от колючей проволоки, замазанных, как положено, дегтем, да еще ей Эб под кожу рыболовный крючок воткнул, в том месте, где вожжа, когда ее чуть приотпустишь, как раз слегка за этот крючок цепляет, а Стамперов черномазый уже

тут как тут, подбегает, хватить за недоуздок, пока наша гнедая, не дай Бог, не своротила палатку, где почивал сам Пэт, а тут уже и Пэт собственной персоной выполз – кремовый «стетсон» на один глаз сдвинул, другим из-под шляпы посверкивает, а уж глаз – прям что твой новый плужный лемех: и цвет тот же, и столько же в нем тепла; Пэт вылез и стоит, большие пальцы за ремень засунув. «Ишь, – говорит, – какая у вас резвая лошадка».

«Уж так резвая, – Эб в ответ, – не знаю, куда, к черту, от нее и избавиться. Была не была, думаю, может, вы меня выручите, дадите что-нибудь взамен, чтобы до дому доехать, не свернув шею себе и мальцу». Потому как такой ход был единственно верным: с места в карьер объявить, дескать, сам не рад, но меняться вынужден, а не крутить вокруг да около в ожидании, пока Пэт сам предложит сделку. Пять лет уже Пэт не видел эту лошадь, вот Эб и решил, что шансов за то, что Пэт ее узнает, примерно столько же, сколько у взломщика узнать часы с цепкой, которая пять лет назад ненароком накрутилась ему на жилетную пуговицу. И потом, очень-то разорять Пэта Эб не собирался. Ну, возратить йокнапатофскому барышничеству славы на восемь долларов – это конечно, но не ради наживы, а только защищая честь. И по-моему, уловка сработала. До сих пор думаю, что Эб обдурил Пэта, у того просто была уже задумка – что Эбу на обмен предложить, вот он и отказался меняться иначе как упряжка на упряжку, а не потому вовсе, что узнал кобы-

лу Бизли Кемпа. А может, и нет, дело темное; кроме того, Эб был так занят тем, чтобы облапошить Пэта, что самого хоть голыми руками бери. Ну, тот черномазый выводит пару мулов, а Пэт стоит себе, пальцы за ремень засунуты, на Эба смотрит да табачок жует, медленно так, смачно, а Эб стоит, и лицо у него отчаянное, хоть и не испуганное пока еще, потому как понял он, что впутался куда серьезней, чем думал, и теперь надо либо переть, зажмурившись, напропалую, либо все к черту бросить – в фургон и ходу, пока Кемпова кобыла крючок из себя не выдернула. И тут Пэт Стампер показал, почему он Пэт Стампер. Если бы он принялся расписывать перед Эбом выгодность сделки, думаю, Эб все ж таки сыграл бы отбой. Но Пэт был не из тех. Облапошил Эба прямо как тот матерый медвежатник, который надул другого, просто-напросто не показав ему, где стоит сейф.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.